
Мы шли на лодке по лесной реке.
Жара плыла от нас невдалеке.
Молчали птицы. Высились осины.
По берегу трусил веселый пес
И в белой пасти кончик лета нес –
Внизу зеленый, сверху светло-синий.

Весло ныряло в воду делово.
И не было на свете ничего,
Помимо пса, реки, осин и света –
Лишь мерный плеск, лишь стук собачьих лап,
Лишь озорной, расслабленный осклаб,
Оскал небес да трепетанье лета.

И мы не рассуждали ни о чем,
А, раз за разом двигая плечом,
Перемещали мир, простой и сущий.
Кончался август. Продолжался день.
И вверх ногами пес летел в воде.
И вниз ногами пес бежал по суше.

Вышел Господь и сказал мне: «Мир погибает, Ной.
Хватит, не ной, скорее иди за мной:
Вот тебе лодка, Ной, вот тебе птица.
Видишь, уже сгущаются черные облака?
Видишь, ручей уже не ручей – река?
Надобно торопиться.

Надобно срочно вытолкать лодку на берег пустой.
Времени нет, а значит ни с той, ни с той
Ты не поедешь. Вот тебе птица. Амен!»
После настали волны, долгие как снега,
Приторные как нуга, темные как тайга,
Пошлые как экзамен.

Ныне сижусь один посреди бесконечных вод.
Птица зигзагами белое небо рвет.
Время плывет, как тина в садовом чане.
Боже, ты не забыл про меня? Ответь мне, в чем
Замысел твой? Ворон садится мне на плечо.
В клюве его – молчанье.

М.Э.

Мы живем на горе, где земля завершает шар,
Где ветра пинают с обрыва июльский жар
И сухая почва, оскалась щербатым ртом,
Наколола на бритый череп наш хлипкий дом.

Здесь, как триста, как тысячу лет назад точь-в-точь,
В щели стен дощатых татарская свищет ночь,
И окно без стекла с дрожащим внутри огнем
Не пронзает мрак, а бесславно сгорает в нем.

Нам ни мир не врет, нас ни хворь пока не берет.
Мы глядим, как внизу копошится курортный сброд.
Мы жуем их пищу, молчим, когда им смешно,
Мы сосем их черное, как собачья кровь, вино,

Но при этом помним, улыбкой ощерясь злой,
Что они превратятся в обычный культурный слой.
Мы же станем пылью – холодным дымом степным,
Чтобы с хохотом литься в пустые глазницы им.

Но тебе не дожидаться смерти, в земле не гнить,
Паркам не перегрызть твою золотую нить.
Если вечность не симбиоз пустоты-темноты-немоты,
То она есть небо, море, горы и ты.

Ты воспитана здесь, в этих ржавых, сухих местах,
В этих трех колючих, пришитых к камням кустах,
В этой бухте где вечером чайки, стремясь к воде,
Выжимают с пляжа замешкавшихся людей.

Проходи, пролетай, проплывай над моей судьбой,
Над моей неспособностью взмыть, быть рядом с тобой.
Тяжелею костями и телом, а пуще тем,
Что назвать бы душой, да стыдно людей и стен.

И когда я стану черепом – да! – когда
Утеряю мимику, нос, непрозрачность глаз –
Наше «мы» распадется на «ты» и «я», навсегда
Разделив грамматически все, что сближало нас.

Но пока из очей моих не пойдет песок,
Не сгустится время в тяжелый комок желе,
Буду видеть и видеть, что твой небосвод высок
И ты в небе тверже стоишь, чем я на земле.

Интервью

- Куда идешь? – На северо-восток.
– Откуда? – Из ларька «Живое пиво».
Там вывеска, где выцветшие раки
впились в такие выцветшие кружки,
что в них и пива как-то незаметно.
– Ты любишь выпить? – Я люблю смотреть.
– И что там? – Там сидит полуармянка-
полутаджичка. Хороша собою.
– Красива? – Не красива – хороша.
Сосед мой говорит, что попытался
к ней подкатить, но что-то не сложилось,
зато ему теперь открыт кредит –
четыре литра «троечки» в неделю.
– Кто твой сосед? – Ханыга, из дворян,
ведущий род с шестнадцатого века
от одного предателя, который
донес и получил себе дворянство
от Годунова. Потому потомки,
стыдясь себя, герба, царя Бориса,
последних полтора столетия пьют.
– А ты? – А я нигде не дворянин,
и, значит, не имею прав на подлость.
– Где ты живешь? – На пятом этаже,
под самой крышей. – Где твой дом? – Не знаю.
Когда-то, правда, знал – потом прошло.
– Какой ты веры? – Веры? – Веры! – Веры?
– Ну ладно, ходишь в храм? – Мой храм разрушен.
– Что делаешь ночами? – Жду утрат.
– Что делаешь с утра? – Боюсь проснуться.
– Зачем ты пишешь? – Видимо, привычка.
– Зачем ты пишешь ямбом? – Потому что
Госдума запретила амфибрахий.
– Ты можешь в рифму? – Я могу не в рифму.
– Жжешь рукописи? – Жгу. Мои – горят.
От них зола и тошнотворный запах.
– Откуда ты берешь стихи? – Не знаю.

– В чем смысл стихов? – Не знаю. – Что нас ждет?
– Не знаю. – Но хотя бы чем мы станем
В конце – ты знаешь? – Да. Но не скажу.
– Ты веруешь? – Я верю в то, что верю.
– Зачем живешь? – За пазухой Творца.
– Ты любишь Юльку? – Видишь ли, дружище,
что значит «любишь»? Как понять границы
любви, симпатии, хотенья, страсти?
Чем измеряют глубину и силу
любовных чувств, и на каком этапе?
– Пожалуйста, короче. – Знаешь, Юлька –
она прелестна: шея, плечи, ножки,
и перси, да... – Еще короче! – Нет.

Озеро моего детства обнаружилось там, где я его когда-то оставил.
Больше озер в моем детстве не было. Кто же теперь меня упрекнет
В том, что это, вписываемое в любые рамки, выламывающееся из всяких
правил,
Есть оторопь моего сердца, сладость моего сердца, боль его, гнет?

Озеро моего детства совсем не изменилось – разве с пляжа исчезла вышка,
Что, в общем, закономерно: у вышек не самый длинный век. Зато
Черника моего детства по-прежнему крупна и тепла. И рыба моего детства
вышла
Погреться на солнце – и глядит вокруг, замерев с навсегда разинутым ртом.

Знаешь, если и есть во мне что-то, то оно, несомненно, отсюда –
Пониманье плотности и вещности мира, осознание прозрачности и
бестелесности небес.
С тех ли пор я считаю, что контур сосны являет собой непреходящее чудо,
И меня не особо волнуют блески иных поднебесных чудес?

С тех ли пор мне, по большому счету, никто не нужен?
Ты, дорогая, права: я невнимательный сын, плохой отец, отвратительный
муж.
Скучно, моя дорогая, тратить время на то, чтобы числиться образцовым
мужем.
Неинтересно выкладывать мозаику чувств, выстраивать взаимодействие душ.

Лучше просто пользуйся мной как можешь, вступая под эти своды
Без надежды, без гарантии счастья, без подсказок типа «холодно-горячо»,
Как я сейчас осторожно вхожу в непрозрачную, торфяную воду
Озера моего детства, круглого и черного, точно твой зрачок.